



Л. ЛАГИН

ГОЛУБОЙ ЧЕЛОВЕК

Главы из романа

13 января 1959 года, в ночь на «старый Новый год», советский молодой человек, рабочий одного из московских предприятий и студент-заочник Георгий Антошин удивительным путем попадает из социалистической Москвы середины XX века в новогоднюю Москву 1894 года. В романе Л. Лагина «Голубой человек» описываются дела и переживания, встречи и думы Антошина за те несколько месяцев, которые он провел в старой, дореволюционной Москве времен зарождения организованного рабочего движения.

Когда Георгий Антошин впоследствии пытался восстановить в памяти подробности своего удивительного Старого-Нового 1959—1894 года, ему в первую очередь вспоминалась Большая Бронная улица, какой он ее впервые увидел, выйдя из мрачных ворот домовладения жены коллежского советника Екатерины Петровны Филимоновой.

Пожалуй, самым поразительным было то, что на первый взгляд она почти ничем не отличалась от той Большой Бронной, какую он знал до своей роковой ссоры с Галкой Бредихиной. Разве только что вывешенные по поводу табельного дня трехцветные царские флаги да вывески с дикими деталями — фамилиями владельцев торговых заведений. Антошин нарочно проделал такой знакомый ему по вчерашнему вечеру путь — по Большой Бронной направо, до Пушкинской площади (теперь она называлась по-старому Страстной), потом по площади направо, до внешнего

Полностью роман Л. Лагина «Голубой человек» будет опубликован в конце года в журнале «Москва».

проезда Тверского бульвара, и снова направо по этому проезду, до того невзрачного здания, где еще вчера вечером — в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году — помещался кинотеатр «Новости дня», и на всем этом пути он не встретил ни одного дома, которого не видел бы вчера.

Но памятник Пушкину стоял теперь на своем первоначальном месте, в самом начале Тверского бульвара. По левую руку бронзового Пушкина, в знакомом трехэтажном доме с нелепым бельведерчиком поблескивала большими цветными шарами знакомая ему с детства аптека. Но теперь она принадлежала не государству, а хозяину, частнику. По правую руку, на внутреннем проезде Тверского бульвара, где потом был многоэтажный дом с магазином «Армения» на углу, высилась церковь святого Дмитрия Солунского с красивыми широкими ступеньками. А там, где Антошин привык видеть новый просторный сквер с фонтанами у памятника Пушкину, закрывала горизонт приземистая громада женского Страстного монастыря, окруженная толстой округлой крепостной стеной, из-за которой там и сям торчали голые верхушки деревьев.

На проезжей части площади, ближе к аптеке, темнел на фоне свежесвыпавшего снега павильон городской конной железной дороги. Под его навесом на полированной деревянной скамье спасались от порывистого ветра несколько приезжих в лаптях, с котомками за плечами. Прогромыхала, глухо тенькая колокольчиком, двухэтажная конка с вывеской во всю ее длину: «Коньяк Шустова». На империале спиной к ветру, втянув в поднятый воротник голову в потертой мерлушковой шапке пирожком, сидел одинокий пассажир. Его унылая, скорчившаяся в три погибели фигура была как бы окантована снегом. Что заставило его забираться в такую мерзкую погоду на открытый всем четырем ветрам империал? Экономия (две копейки разницы против стоимости проезда внутри вагона)? Тяга к одиночеству? Потребность проветриться после бурно проведенной новогодней ночи?

Улицы, бульвар, площадь были равно пустынно и тихи. Табельный, неприсутственный и нерабочий день еще только начинался. Москвичи отсыпались. Лениво протряхал извозчик: узенькие, похожие на игрушечные сани, покрытые облезлой полостью, невидная лошадка с ленточкой, вплетенной в жиденькую гриву по случаю праздника, точь-в-точь такой же, как десятки извозчиков, которых Антошин перевидал в кинофильмах и в иллюстрациях к сочинениям Льва Толстого, Антона Павловича Чехова. Маячил на углу, переминаясь с ноги на ногу, озябший городской, первый городской, которого Антошин увидел не на экране, а в жизни, в натуральном виде. Коренастый, массивный, в черной шинели с погонами из крученого красного жгута, с красным шнуром-аксельбантом, который кончался защелкой на рукоятке торчавшего из черной кобуры револьвера. На городском была круглая, черная и низкая барашковая шапка с разлапистым позолоченным знаком.

Скамейки вокруг памятника Пушкину были покрыты пухлыми снежными перинками, чистенькими, свежими, нематыми. С тех пор как начал ночью падать снег, на них еще никто не сидел. Кроме одной. Кто-то смёл на ней краешек и, видно, не



Рисунки Н. КУТИЛОВА

очень давно ушел, потому что сиденье в этом месте было только слегка припущено снегом. А сбоку, возле самого края скамейки, валялась сложенная вчетверо газета... «Ведомости московской городской полиции»!

Когда-то в далекие детдомовские годы руководитель их полткружка, старая коммунистка Александра Степановна Беклемишева, лично водила юного Антошина — признанного главу детдомовских «историков-марксистов» — в Старосадский переулок, в Историческую библиотеку. Они поднялись с нею на пятый этаж, в газетный отдел, и Александра Степановна сама подобрала для своего любимца несколько комплектов старых московских газет. Несколько воскресных дней Антошин с утра до вечера (с перерывом на обед у Александры Степановны) листал хрусткие газетные комплекты, огромные, громоздкие, неудобные, в дешевых и некрасивых картонных переплетах. Он прочел в них



уйму «Дневников происшествий» и объявлений, выписывал самое интересное, и это ему здорово помогло, когда он, пунцовый от горделивого волнения, делал на кружке сообщения «О характерных фактах московской жизни времен зарождения организованного рабочего движения».

Многого Антошин тогда в тех газетах не понимал, многое было ему хоть и понятно, но неинтересно.

Теперь Антошину предстояло читать одну из тех газет не в качестве самодеятельного историка, а как ее современнику.

* * *

По старой памяти он начал с «Дневника происшествий».

«Тридцатого декабря, — прочитал он, застревая с непривычки на незнакомых буквах «ять» и «фита», — в доме Берга на Маросейке был усмотрен повесившийся запасный рядовой, из крестьян, Федор Владимиров, 34 лет. Покойный злоупотреблял спиртными напитками, что, вероятно, и послужило причиной к самоубийству».

В тот же день в Старо-Екатерининской больнице умерла учительница Ольга Игнатьевна Самойлова, 30 лет. Смерть последовала от отравления карболовой кислотой, которую Самойлова приняла, проходя по Третьей Мещанской улице. Покойная последнее время находилась без занятий, была очень задумчива и не раз говорила домашним о желании покончить с собой.

В тот же день в приемный покой Мясницкой части доставлен был поднятый на улице неизвестный мужчина в болезненном состоянии, с отмороженными руками, который, успев назвать себя крестьянином Корчевского уезда Федором Марковым, 47 лет, вскоре умер.

Того же числа были подкинута младицы: к воротам дома Бородина в Головином переулке младиц мужского пола; в коридоре при конторе смотрителя Мясницкой части — женского пола, с запискою: «Крещена, звать Татьяна», и на парадное крыльцо квартиры мещанина Федорова, в доме Маманина на Цветном бульваре, — также женского пола, с запискою: «Крещена, звать Домною». Подкинутые младицы отправлены в воспитательный дом.

Из Перми сообщали, что в здешнем городском театре устроено электрическое освещение, которое предполагается распространить и на ближайшие улицы.

Из Санкт-Петербурга сообщали, что министр юстиции Макасеин уволен от должности по расстроенному здоровью и назначен членом Государственного совета с пожалованием ордена Александра Невского с бриллиантами, а государственный секретарь Муравьев назначен управляющим министерством юстиции. Товарищ министра внутренних дел Плева назначен государственным секретарем, Управляющий министерством государственных имуществ Ермолов утвержден министром государственных имуществ.

Обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев пожалован в статс-секретари,

* * *

— Газетку читаем, землячок?

Антошин оглянулся. Справа от него пристроились на скамейке двое молодых людей — гимназист и студент. Оба в форменных шинелях и фуражках, свежие, оживленные, добродушные и любопытные.

— Пытаюсь, — ответил Антошин.

— Трудно небось? — посочувствовал гимназист.

— Да не так чтобы очень.

— Хорошо, значит, грамотный.

— Более или менее, — сказал Антошин. Его забавлял и чуть-чуть раздражал мальчишески-снисходительный тон гимназиста.

— Сам на эту газету подписываешься или у хозяев одолажешься? — продолжал свои расспросы гимназист.

— А вы, господин гимназист, со всеми незнакомыми людьми на «ты» или только с простонародьем? — любопытствовал Антошин, не повышая голоса.

Студент глянул на Антошина с приятным удивлением. Гимназист покраснел.

— Я так для доступности, — пробормотал он, все больше краснея, — для простоты обращения...

— Я нашел ее на снегу у скамейки, — протянул ему Антошин газету. — Если это ваша, то пожалуйста...

Гимназист вспыхнул:

— Ни один приличный русский человек не читает «Ведомости московской городской полиции»! Ни один уважающий себя русский человек не опустится до того, чтобы...

Очевидно, он сел на своего любимого конька, потому что студент бесцеремонно перебил его.

— Хотелось бы знать, — обратился он к Антошину, — какое она на вас производит впечатление, эта газета?

Студент был серьезен, благожелателен и, видимо, искренне заинтересован таким редким явлением — крестьянским парнем, читающим газету.

Тут мы считаем нужным еще раз подчеркнуть, что в тот день Антошин еще склонен был относиться ко всему, что так неожиданно и непонятно на него навалилось, не задумываясь и шутиливо.

— Других газет я пока не видал, — сказал Антошин. — Сравнить поэтому не могу. Но... — тут он вдруг, сам того не желая, ухмыльнулся, — но информация в ней неполная, это факт.

Вряд ли во всей Московской губернии, включая столичный град Москву, можно было в тысяча восемьсот девяносто четвертом году насчитать десяток простых, только что распростившихся с деревней крестьянских парней, которые знали бы значение, а тем более свободно пользовались такими редкими и учеными заграничными словами, как «информация» и «факт». Если студент был раньше заинтересован Антошиным, то теперь он уже был явно заинтригован.

— ИНФОРМАЦИЯ, говорите, в ней неполная? — протянул он, казня презрительным взглядом совсем присмирившего гимназиста. — А почему вы считаете фактом, что информация в ней неполная?

— А вы судите сами, — отвечал Антошин на полном серьезе и ткнул пальцем в обширную заметку на третьей полосе «Ведомостей». — Вот сообщают, например, что вчера прибыли в Москву тайный советник Шмит, действительные статские советники Зилов, Лестушевский, Пупешников — самые что ни на есть замшелые чинуши, бюрократы, канцелярские крысы, какой-то камердинер высочайшего двора Никифоров...

— Не камердинер, а камергер, — поправил Антошина гимназист, следивший за его указательным пальцем, водившим по строкам заметки.

— Одна дрянь, — сказал Антошин. — И камердинер холуй, и камергер холуй.

— Э-э-э, братец! — покосился на него гимназист. — С такими словечками надо, братец, поосторожней!.. За такие словечки, братец, раз-раз — и быстренько туда, куда Макар телят не гонял!

— «И какой же русский не любит быстрой езды!» — беззаботно усмехнулся Антошин.

Теперь студент смотрел на Антошина со смешанным чувством восхищения и недоумения. Было легко догадаться по выражению его лица, что он никак не мог понять, кто этот одетый мужичком загадочный парень, который цитирует, да еще так рискованно, «Мертвые души».

— Ты, Дима, не перебивай! — остановил он гимназиста и снова обратился к Антошину:

— Значит, говорите, камердинер высочайшего двора Никифоров?

— Вот именно, — невозмутимо подтвердил Антошин. — И откуда они прибыли сказано и где остановились. А вот что в тот же самый день тридцать первого декабря прибыл и остановился на Большой Бронной улице, в доме Филимоновой, на квартире у своей тетки Ефросиньи Авксентьевны Малаховой такой удивительный человек, как Георгий Васильевич Антошин, об этом, представьте, ни слова!

— Действительно, получилось не совсем прилично, — в тон ему подхватил студент: — Но, может, Георгий Васильевич поздно прибыл? Тогда сообщат в следующем номере.

— Да, вот этого я, пожалуй, не учел, — сурово согласился Антошин. — Георгий Васильевич прибыл вчера в двенадцатом часу ночи.

— Ну, вот видите! — сказал студент, откровенно потешаясь над гимназистом, который поначалу слушал их разинув рот. — Значит, читайте в следующем номере. Надеюсь, это вы и есть господин Антошин?

— Не буду скрывать, — чуть улыбнулся он, — я и есть этот самый Антошин.

— Синельников. Тезка ваш. Тоже Георгий. Только Викторovich. — Студент привстал и пожал Антошину руку.

— Воронич Дмитрий... Кириллович, — в свою очередь, представился гимназист и снова залился краской. — Гимназист восьмого класса... Мы с вами, оказывается, почти соседи... Мы проживаем на Малой Бронной, в домах Гирша... Я так и думал, что...

Но ни Антошину, ни Синельникову не было интересно, что думал гимназист восьмого класса Воронич Дмитрий, и Синельников снова без всяких церемоний перебил его:

— Впервые в Москве?

— Да как вам сказать... — замылся Антошин. — Вроде и был я здесь раньше, а вроде и не был. Во всяком случае, теперешнюю Москву я, считайте, не знаю вовсе.

— Та-а-ак... — протянул студент. — Та-а-ак! А видели вы уже наши новые Верхние торговые ряды на Красной площади? Я бы даже сказал, не новые, а новехонькие. Только месяц, как их построили. Прекраснейшее, доложу я вам, здание! Такое и в Париже не стыдно было бы поставить. Длина по фасаду сто шестнадцать сажен!.. Стекланная крыша на головокружительной высоте!.. Фонтан, представьте себе, как в сказочном дворце!.. И магазины, магазины, магазины!.. На обоих этажах сплошь магазины... И роскошь электрических ламп!.. Вы уже видели электрическое освещение? Если вы не видели, то...

— Гога! — сказал гимназист. — Смотри, кто идет.

Со стороны Никитских ворот неторопливо, вразвалочку приближался студент лет тридцати с лишним, небритый, в потрепанной шинели и выдавшей виды фуражке блином.

— Это мой друг! — обрадованно объяснил Воронич Антошину. — Вяльцев. «Вечный студент»... Хотите, я вас познакомлю? Он любит интеллигентных крестьян.

И они с Синельниковым замахали Вяльцеву, приглашая разделить с ними компанию на скамейке. «Вечный студент» отри-

цательно мотнул головой, развел руками: дескать, рад бы, но не могу. Дела.

По-прежнему не торопясь, он вскоре поравнялся с памятником и остановился по ту сторону памятника, потому что Синельников, а вслед за ним и гимназист кинулись поздравлять его с Новым годом, Потом Воронич стал что-то восторженно шептать ему, кивая на Антошина. Антошин из скромности снова уткнулся в газету, но краешком глаза заметил, как «вечный студент», очевидно не разделив восторгов гимназиста, помрачнел, насутился и стал вполголоса, но очень резко в чем-то выговаривать обоим своим молодым приятелям. До Антошина долетело слово «провокаатор», потом «полицейские ведомости», потом что-то насчет «типичного идиотства и ребяческой доверчивости», потом Вяльцев нарочито закашлялся, обращая тем самым внимание молодых людей на то, что Антошин прислушивается к их разговору. Оба молодых человека опасливо и — возможно, это только показалось Антошину — с отвращением оглянулись на него. Потом Синельников уже из-за памятника крикнул: «До свидания! Мы очень торопимся!» И чтобы сбить с толку Антошина, если тот захочет за ними увязаться, «вечный студент» повернул налево, к Триумфальным воротам, Синельников — назад, к Никитским, а гимназист Воронич Дмитрий махнул напрямик — к Петровским.

Чего обижаться? Во сне чего не бывает? Антошин заставил себя усмехнуться и снова углубился в газету. Но, говоря по совести, ему стало немножко не по себе. Даже во сне противно, если тебя принимают за провокатора. Он встал со скамейки, сложил газету вчетверо, не торопясь сбил ею снег, налипший на его штаны, вздохнул и повернул направо, на Тверскую.

Тверская хмуро поглядывала из-под вывесок на редких прохожих заспанными белесыми глазками своих невысоких витрин. Вывесок-то, вывесок сколько было повешено на приземистых, все больше двух-, трех-, а то и одноэтажных строениях удивительно неширокой Тверской! От коньков крыш до самых тротуаров они висели тяжело, как вериги, разнокалиберные, разноцветные, с сусального золота буквами, «ятами», «твердыми знаками» и «фитами», с двуглавыми орлами на вывесках «поставщиков двора его величества», с красными крестами на вывесках «депо пивовок», с роскошными дамами в ротондах и мужчинами неземной красоты в блестящих цилиндрах — над мужскими и дамскими конфекционными, с дамами в умопомрачительных прическах и молодыми усатыми джентльменами со скульптурными эспаньолками — над парикмахерскими, с виноградными гроздьями — над ренсковыми погребями. Поразительно громоздкие, неправдоподобные для советского человека вывески с фамилиями владельцев этих торговых и промышленных предприятий!.. Частников!..

Над крышами курчавились дымы из сотен печных кирпичных труб: голландские и русские печки отогревали поостывшие за ветреную ночь квартиры.

На Тверской площади, у подъезда тогда еще двухэтажного генерал-губернаторского дворца, поблескивали лаком нарядные сани, запряженные тройкой серых в яблоках лошадей. На облучке восседал неподвижный и громоздкий, как памятник, ку-

чер в шегольской шапке с павлиньим пером. Несколько казаков с молодеческими чубами из-под папах застыли на своих до блеска начищенных конях. На противоположном углу, у гостиницы «Дрезден», там, где во времена Антошина было кафе «Отдых», скопилось человек двадцать зевак, ожидавших появления августейшего генерал-губернатора. Антошин стоял сначала позади, потом, когда зеваки заволновались, он пробился вперед и успел увидеть, как из подъезда вышел высокий, совсем еще молодой офицер с незначительным, но красивым лицом, младший брат царя, великий князь Сергей Александрович.

Большинство присутствующих смотрели на великого князя с благоговением, кое-кто безразлично. Были, возможно, считанные люди, которые смотрели на него с хорошо скрытой неприязнью. Но только Антошин один во всем мире знал в этот ранний зимний час, что Сергей Александрович — брат предпоследнего и дядя последнего русского царя и что ровно через десять лет он будет убит. И он не только знал, что Сергей Александрович будет убит, он знал место, где это произойдет, имя и фамилию его будущего убийцы и даже улицу в Москве, которая после революции будет названа именем этого революционера.

А генерал-губернатор, пока у Антошина мелькали в мозгу эти мысли, пошел к саням, камер-лакей ловко отстегнул драгоценную меховую полсть, пропустил под нее августейшего, снова ее застегнул, кучер дернул вожжи, тройка легко рванулась с места и под звон бубенцов понесла вниз, к Моисеевской площади, к Красной и дальше вниз, под гору, в Замоскворечье, прогуливая его только что опохмелявшееся императорское высочество.

А Антошин пошел вниз по крутой и узенькой Тверской пешочком, не торопясь, спокойным шагом, непрерывно оглядываясь по сторонам, заглядывая сквозь оттаявшие глазки в затянутые изморозью витрины, внутрь лавок, магазинов, мастерских, пивных, кофейных и ресторанов. У низенькой трехэтажной гостиницы «Париж», что на углу Охотного, насупротив «Национальной» гостиницы, он повернул налево, к Параскеве Пятнице и пошел по Охотному ряду. Из птичьих боен тянуло смрадом гниющего мяса...

* * *

Дверь в подвал была заперта: Малаховы еще не вернулись из гостей. Надо было ждать.

Антошин присел во дворе на лавочке. Ветер утих. Перестал сыпать снег. Над белыми крышами столбом стояли в морозном сером небе белые дымы из печных труб. На дворе было по-праздничному тихо и безлюдно. Редко-редко кто выбегал по нужде, торопко похрустывая по свежему снегу. На Антошина никто внимания не обращал. Пробежит человек наискосок к дощатому нужнику, пробежит обратно, поеживаясь от холода, и снова становилось совсем тихо. Только слышно было сквозь форточку на втором этаже, как кто-то из постояльцев мебелированных комнат терпеливо, но бесталанно разучивал на мандолине песню «Чудный месяц плывет над рекою». До колена «ничего мне на свете не надо» все шло более или менее сносно, но

на этом месте он роковым образом застревал и с бычьим упорством все начинал сначала.

А дверь в подвал, в котором со вчерашней ночи проживал Антошин, все еще была заперта. Антошин совсем озяб. Он решил побродить по улице, не теряя из виду ворота. В подворотне он носом к носу столкнулся с Сашкой Терентьевым. Бывший сыщик сегодня был трезв и, признав Антошина, снизошел до того, чтобы поздравить с Новым годом. Поздравив, увлек Антошина вниз по Большой Бронной для экстренного разговора.

— Ты свою пользу понимаешь? — спросил он недоумевающего Антошина, когда они, наконец, остановились на углу Сытинского переулка.

— Понимаю, — сказал Антошин.

— А язык держать за зубами умеешь?

— Умею, — сказал Антошин. — А что?

— А то, что ты, ежели хочешь знать, держишь свое счастье в своих собственных руках! Вот в каком смысле!..

— Да ну?

— Не «да ну», а так точно!.. Только смотри, проговоришься хоть кому, хоть даже своему дядьке или Ефросинье Авксентьевне, не жить тебе на свете, голову оторву и на помойку выброшу... И ничего мне за это не будет... Понял?

— А ты меня не страшай, а говори дело, — отвечал Антошин. — Пугать меня не надо.

— Меблирашки Зойкины знаешь? — спросил Сашка, деловито шмыгнув носом.

— Ну, знаю, — сказал Антошин.

— Может, заметил такого жильца, конопатого такого? Все у него лицо в ямках. От оспы. Сам из себя такой худой, длинновязый. Шляпа черная. Пальто, обратно, тоже черное. Шарф вокруг шеи носит зеленый. Уши острые, приплюснутые к самой голове. Голова, обратно, тоже длинная. Шатен... Мочки на ушах средние...

— Н-н-не-ет, вроде не примечал, — протянул Антошин и глянул на Сашку с особым любопытством, которое Сашка принял в выгодном для себя смысле.



А это Антошин вспомнил, как утром, за чаем, Шурка, девятилетняя дочь Степана и Ефросиньи, стала болтать про какого-то Конопатого, который третий день проживает в Зойкиных меблирашках, а приехал в Москву будто бы аж из Сибири, с Каторги. Степан и Ефросинья перепугались, накричали на Шурку, чтобы она про Конопатого не болтала, а то еще с такой болтушкой беды не оберешься.

Антошин в распросы, конечно, не пустился, промолчал, будто бы ему и вовсе неинтересно. Но про себя подумал: а вдруг этот Конопатый революционер? И ему очень захотелось встретиться с этим Конопатым, поговорить с ним, с настоящим, живым и еще молодым борцом за народное дело на самой заре русского рабочего движения.

— Нет, не примечал, — повторил он после коротенькой паузы. — А кто он такой?

— Фамилие его тебе ни к чему, — перешел на шепот Сашка, то и дело оглядываясь по сторонам. — Розанов ему фамилие, а имя ему Сергей Абрамыч... Известно тебе, кто он такой есть?

— Нет, — сказал Антошин, — неизвестно. Я же тебе говорил, что неизвестно. А кто он такой есть?

— А есть он, — торжественно отчеканил Сашка, — государственный преступник. По отбытии срока наказания следует к месту своего рождения.

— Государственный преступник?.. А что это такое есть государственный преступник? — осведомился Антошин, с удовольствием входя в образ простоватого деревенского парня. — Вроде конокрада?

— «Конокрада», «конокрада»! — с досадой передразнил его Сашка и уже совсем шепотом пояснил, делая круглые глаза: — Против государя нашего императора бунтовал!

— Да ну?.. — в свою очередь сделал круглые глаза Антошин. — Да разве против государя императора бунтуют? Ты меня не обманывай! Меня обманывать грех: я круглый сирота. Чего это люди против царя бунтовать будут? В каком таком смысле?

— С жиру бесятся, вот и бунтуют. И Конопатый тоже все с жиру. В бога не верит, вот и бунтовал.

— Разве такому человеку можно позволить в Москве останавливаться? — забеспокоился Антошин, вызвав снисходительную улыбку Сашки. — А вдруг он меня зарежет или тетю Фросю?

— Значит, можно. Временно... Не наше с тобой дело такие дела решать. На это начальство поставлено. Разрешили — значит, можно.

— Ну разве только если начальство, — согласился Антошин. — А я тут при чем? Я человек приезжий, смиренный. Мне на работу надо становиться, пропитание себе зарабатывать...

— Вот дурья голова! Как раз об этом с тобой и толкую. Хочешь, пока на работу поступить, подработать?... И на хлеб хватит, и на квас, и на сало, и на воду-лимоннад, и на фруктовую карамель, и на вино... И с бабами всласть погуляешь.

— А чего такого с меня требуется? — спросил Антошин.

— К этому Конопатому будут всякие люди ходить, — снова

зашептал Сашка. — Требуется установить, что за люди, куда от него уходят. А мне потом докладывать. А уж я—по начальству... Понял?..

— А это почему за ними следить? — спросил Антошин, с трудом удерживаясь, чтобы не разбить в кровь приторно ласковую Сашкину физиономию, которая находилась в манящей близости от его правого кулака.

— А может, они тоже государственные преступники, вот почему, — терпеливо объяснял Сашка, вздрагивая каждый раз, когда мимо них проходил прохожий. — Ежели они, преступники, бунтуют, то надо, конечно, проследить, где кто проживает. Тогда их можно будет взять под арест... — Он заметил хорошо разыгранное недоумение на лице своего собеседника и пояснил: — Ну, посадить их в тюрьму, потом, конечно, под суд и в Сибирь на каторгу, чтобы не мучили православных христиан. Теперь тебе понятно?

— Теперь понятно, — согласился Антошин. — А я тут при чем? Тебе все это еще более понятно, ты их и проследи.

— Мне нельзя! — горячо отвечал ему Сашка. — Стал бы я с тобой доходом делиться, кабы мог сам! Да мне нельзя. Уже он знает, что я в сыском работал... Уже ему какая-то сука про меня набрехала... И потом, я из себя мужчина приметный, образованный, а ты, наоборот, неприметный, одним словом, деревенщина, Рязань косопузая... Да ты не обижайся! Я тебя деревней не со зла называю, а так, к слову...

— Я не рязанский, я московский, и обижаться мне на тебя не стоит, — медленно протянул Антошин, лихорадочно обдумывая, что лучше: отказаться под благовидным предлогом или в интересах Конопатого и революции согласиться. — А мне за это что будет? Какая награда?

— Деньги тебе будут! — жарко зашептал Терентьев. — Очень большая масса денег!.. Пять рублей!.. Даже шесть!.. Ну как? — спросил он после довольно продолжительного молчания.

— Боязно мне, — сказал Антошин. — Еще зарежет.

— Да не зарежет он тебя, — стал его успокаивать Сашка. — Очень ему нужно таких, как ты, резать! Ты для него будешь вроде как пар — и все...

— Боязно мне, — повторил Антошин с сомнением. — Разве что для начала попробовать... Только ты мне как, деньги вперед дашь?

— Сейчас не дам. Не буду врать. Не при деньгах я сегодня. А придешь ко мне с первым докладом, сразу дам тебе задаток... Я тебе сразу полтинник отвалю... Даже целковый... Желательно тебе получить такую сумму денег? Ты сказывай, не стесняйся...

— Желательно, — протянул Антошин, — только боязно... Смотри, если ничего у меня не получится — не сердись...

— Получится у тебя, голову даю отсечь — получится. Ты парень толковый.

— А ты меня не обманешь? — совсем уже вошел в роль Антошин.

— Ну как ты, Егор, сомневаться можешь? Ай-ай-ай! — закачал на него головой Сашка, довольный, что дело на мази. — Разве я похож на жулика?

— Похож, — с почти клиническим простодушием промолвил Антошин, глядя прямо в глаза Сашке. — Ты ужасно хитрый.

— Что хитрый, это верно, — согласился Сашка. — Без этого в нашем деле нельзя. Хитростью кормимся. А что я на жулика похож, так это ты говоришь исключительно по своему невежеству. Вам, деревенским, всякий городской жуликом кажется. Значит, по рукам?

— Разве что попробовать, — сказал Антошин. — Только, чур, не получится у меня, не сердись...

— Не буду, не буду! Честное мое тебе благородное слово!

— Смотри, не забудь: обещал для начала рубль! — напомнил ему Антошин.

— Считаю, он уже у тебя в кармане... Ой! — тихо вскрикнул Сашка и потащил Антошина за угол, в Сытинский переулок. — Видишь, во-он там, со Страстной, идет этот самый Конопатый... Так ты ему пойдй навстречу, поздоровайся, играй из себя дурака. Понятно?

— Понятно, — сказал Антошин. — Только мне ужас как трудно из себя дурака разыгрывать. Вдруг не получится?

— У тебя получится, — успокоил его Сашка, и на лице его мелькнула презрительная ухмылка. — Чего-чего, а это у тебя получится первый сорт. Спросит он у тебя, чего ты с ним здороваться, отвечай — мы с вами, барин, дескать, на одном дворе проживаем, и я к вам, дескать, барин, имею самое полное благодушие. Ты с ним разговаривай с самым что ни на есть громадным уважением, будто он не каторжанин, а, скажем, околочный надзиратель или, скажем, богатеющий купец первой гильдии. Смотришь, разговоришься, познакомитесь — и дело пойдет аккуратно, как надобно...

— Боязно мне, ох, боязно! — снова проговорил Антошин.

Он действительно очень волновался, и Сашка, поняв это волнение по-своему, был в высшей степени удовлетворен. Проследив из-за угла, как Антошин шел навстречу Конопатому и как они, наконец, встретились, Сашка быстренько потер руки: дело было на мази.

* * *

Они встретились у ворот их дома. Словесный портрет Конопатого, который Сашка по всем правилам филерской техники дал Антошину, оказался довольно точным, хотя и неполным. Антошин увидел молодого человека лет двадцати пяти — двадцати шести. Он был долговяз, худ, в черной поношенной шляпе, из-под которой на затылке выглядывали густые, пепельного цвета волосы. Его желтоватое лицо с острыми красными скулами было щедро покрыто оспинами, а тонкие, хрящеватые и почти прозрачные уши были и на самом деле прижаты к голове. На нем просторно висело длиннополое потертое черное пальто с поднятым по случаю стужи негреющим узким плюшевым воротником. Зеленый шарф, обмотанный вокруг его тонкой, не по возрасту жилистой шеи, как бы подчеркивал нездоровый цвет его лица. Но Сашка ничего не упомянул о глазах Конопатого. А глаза на его заурядном лице были необыкновенные — умные, острые, решительные, добрые и очень невеселые.

— Здравствуйте, — сказал Антошин, превозмогая волнение, и снял шапку. (Он уже успел заметить, как крестьяне здороваются с господами.) — С Новым вас годом, с новым счастьем! — Антошин снова глянул на его желтое лицо и добавил: — Желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни!

— Спасибо. И вас также, — ответил с явным недоумением Конопатый. — ...А разве мы с вами знакомы?

— Мы с вами проживаем на одном дворе, — справился, наконец, Антошин со своим голосом. — Только вы в мебелированных, а я в воротах, в подвале... Я у сапожника проживаю, у Степана Кузьмича... Я племянник его жены Ефросиньи Авдеевны. Может быть, знаете?

— Очень приятно, — равнодушно промолвил Конопатый, поклонился и пошел в ворота.

Антошин с шапкой в руке пошел за ним следом.

— Одну минуточку! — сказал он и тронул Конопатого за рукав, когда они уже вошли во двор. — Мне вам нужно сказать несколько очень важных слов.

Конопатый остановился:

— Чем могу служить?

— Вы знаете человека по имени Терентьев, Сашку Терентьева?

— Предположим. Дальше?

— Он нехороший человек. Вы его остерегайтесь.

— Я вас не понимаю, — сказал Конопатый, настороженно глядя на взволнованное и раскрасневшееся лицо Антошина. — Почему это я должен опасаться некоего господина Терентьева?

— Он меня только что уговаривал установить слежку за вами и за теми, кто будет к вам сюда приходиться.

— УСТАНОВИТЬ СЛЕЖКУ? — переспросил Конопатый, подчеркивая своей интонацией всю необычность этих слов в устах деревенского парня.

— Ну да, — не понял его намека Антошин и горячо продолжал: — Он мне посулил за это шесть рублей. После первого моего донесения — задаток в размере одного рубля. А я должен за это постараться войти к вам в доверие.

— Я вас не понимаю, — ответил ему с неожиданным презрением Конопатый, следя за сложенной вчетверо газетой, которой Антошин машинально размахивал в такт своим словам. — Вы меня с кем-то путаете. Мне нечего опасаться полиции. Я ни в чем не виноват.

— Вы... вы меня подозреваете? — вдруг перехватил Антошин его взгляд и побледнел от возмущения. — Вы думаете, что это с моей стороны мистификация, ловкий ход, чтобы втереться к вам в доверие?

— Вы даже не даете себе, милостивый государь, труда выражаться языком русского крестьянина! — усмехнулся Конопатый и стряхнул руку Антошина со своей. — В высшей степени топорно работаете, сударь, в высшей степени топорно!.. Кстати, если вы намерены преуспевать в вашей благоуханной деятельности, мой вам совет: в любом случае складывайте вашу любимую газету заголовком внутрь, когда собираетесь размахивать ею перед носом вашей очередной жертвы. Все! Желаю здравствовать!

— Ради бога! — умоляюще пробормотал Антошин, неизвестно зачем записывая злосчастную газету за пазуху. — Я вам все объясню... Я честный человек...

— Не сомневаюсь, что вы стараетесь честно отработать ваше жалованье, — рассвирепел Конопатый. — Вы себе представить не можете, как вы мне отвратительны!..

Он закашлялся, харкнул на сугроб у самого входа в мебели-рашки и с такой силой захлопнул за собой дверь, что едва не прищемил Антошину пальцы.

* * *

Пятницкая встретила Антошина кислым керосиновым запахом, криками сбитенщиков, пирожников, бубличников, веселыми воплями ребятишек, скрипом полозьев вертлявых извозчичьих санок. Неторопливо трюхали по снегу, грязно-коричневому и рассыпчатому, как халва, обшарпанные линейки с пассажирами, рассажеными вдоль них, спина к спине. Чтобы согреться, пассажиры топали озябшими ногами по длинным оледенелым дощатым подножкам. Громыхая и дребезжа, их обгоняли кургузые темно-зеленые конки. Сквозь покрытые толстым слоем льда коночные окошки еле угадывались желтые огоньки сальных огарков в убогих жестяных фонарях. На открытых всем ветрам передних площадках осатаневшие от холода кучера, стараясь не особенно высовываться на мороз, пронзительно звонили в колокольчик и устало хлестали самодельными извозчичьими кнутами усталых и ко всему безразличных кляч.

У дверей обувных и галантерейных магазинов, у лавок, торговавших красным товаром, у «мужских, дамских и детских конфекционов» прохожих хватало за рукава, уговаривали, завлекали, упрашивали, улещивали, превозносили, величали почтенными, вашими степенствами, вашими пре-



подобными, высокородиями и даже превосходительствами разбитые, голосистые и очень озябшие зазывалы.

Впрочем, Антошина никто не хватал и не улещивал.

Эх, была бы сейчас у Антошина копейка, он бы бублик купил!

А разукрашенные сияющими морозными папоротниковыми лессами витрины совсем некстати напоминали Антошину о высоких хрустальных бокалах, к которым они с Галкой так недавно, меньше месяца тому назад, приценивались для будущего своего хозяйства в магазине Главхрустала на улице Горького, нансось от «Гастронома» № 1.

На перекрестках городские, зябко втянув головы в полусложенные башлыки, грелись у костров, полыхавших прямо посередине улицы. Извозчики с ближайших бирж, в клеенчатых приземистых цилиндрах и синих ватных армяках, подпоясанных красными матерчатыми кушаками, вели с городскими подобострастные разговоры, поворачиваясь к огню то своими фасадами, то неправдоподобно толстыми задками.

По кривой, шириной в переулок Москворецкой улице Антошин поднялся на Красную площадь. Против главного входа в новехонькие Верхние торговые ряды заиндевелый бронзовый Минин указывал бронзовому князю Пожарскому на заиндевелую кремлевскую стену. Сквозь узенькую арку Иверских ворот, мимо толпившихся у часовни богомольных старушек и странников в лаптях, сквозь зычный строй нищих, базировавшихся на Иверской, он вышел на Воскресенскую площадь, которую всю жизнь знал как площадь Революции.

Отсюда через крошечную Мойсеевскую площадь с неказистой темной часовенкой, торчавшей в самом центре, круто в гору бежала Тверская улица.

А справа, сразу по выходе из Иверских ворот, новое, темно-красное кирпичное здание Городской думы... Музей Ленина!..

И тут Антошина вдруг словно током ударило. Он вспомнил, что сегодня девятое января тысяча восемьсот девяносто четвертого года!.. Как раз сегодня вечером в доме Залесской!..

Он нырнул у Лоскутной гостиницы налево, в темный, вонючий, кишезший крысами Обжорный переулок, вынырнул у сверкавшего иллюминацией Манежа. Из Манежа доносился веселый гром духовых оркестров: шло крещенское гулянье. Свернул на тихую Воздвиженку, вышел к самому ее концу, туда, где она на пересечении с Арбатской площадью и Никитским бульваром упиралась в приземистую темно-серую с белыми алебастровыми ангелочками над сводчатыми высокими окнами церковь, и слева увидел угловой каменный дом с главным фасадом на Арбатской площади. Антошин обогнул его. Бросилась в глаза вывеска «Книжный магазин Залесской «Просвещение». Это был тот самый дом, на месте которого чуть больше недели тому назад чернели за каменной оградой голые стволы молодого сада, разбитого возле кинотеатра «Художественный».

Антошин вернулся на Воздвиженку, к воротам и удостоверился, что дом этот действительно принадлежит госпоже Залесской.

Правильно. Все в порядке.

Нет, не все. А вдруг он ЕГО уже прозевал? Может быть, ОН уже прошел в дом, к сыну коллежского ассессора Кушенского?

С какой стороны вход в эту квартиру — с Воздвиженки или с площади? Спрашивать нельзя. Поинтересуются, с чего это вдруг какой-то мужичонка пожаловал вечером к его высокородию? Посмотреть разве на доску в воротах? Поздно: в воротах появился дворник! Надо поскорее убирать ноги. Еще спросит, чего ему здесь надобно, придерется... Так и есть, заметил, подлец!

— А ну, — крикнул ему дворник, — подь-ка сюда, деревня!

Антошин нехотя подошел, стараясь глядеть как можно спокойней.

— Хочешь заработать? — спросил его дворник.

— Хочу, — сказал Антошин.

— Видишь, сколько снегу навалило? Приедут сейчас вывозить, а у меня рука, видишь?.. — Дворник показал забинтованную окровавленной тряпичей правую руку. — Попортил сегодня. А вывозить приказано нынешним вечером... А у меня жена в деревню уехала. Мать у нее помирает... Так как?

Знал бы дворник, что Антошин с радостью согласился бы проделать всю эту работу бесплатно, лишь бы на законном основании, не вызывая подозрений, побыть около дома Залесской хотя бы часочка два!..

— Рупь! — коротко отвечивал он в припадке вдохновения.

— То есть как это рупь? — ужаснулся дворник.

— Вот так, рупь... Меньше нет расчёту. Время позднее. Устал... Да ты с возчиками договорись, они дешевле согласятся. А то подожди до утра, найдешь и таких, за пятиалтынный согласятся.

— Сказано тебе, сейчас требуется вывозить. Квартальный посулился оштрафовать в случае чего, — сказал дворник, пропустив мимо ушей предложение поговорить с возчиками. — Да у тебя совесть-то есть?

— Совесть есть. Денег нету.

— Возьми тридцать копеек — и по рукам.

— Ладно, — сказал Антошин после видимой душевной борьбы. — Давай полтинник.

Договорились на сорока копейках.

— Я, пока сани придут, похожу, — сказал Антошин. — А то мне зябко.

Теперь он имел законнейшее основание бродить вокруг заветного дома.

Для лучшего обзора он перешел на противоположный тротуар. За узорной железной оградой красовался затейливый, с витыми, как хала, колоннами еще не совсем достроенный морозовский особняк.

— Ты смотри, далеко не уходи! — крикнул ему дворник. — Сани вот-вот будут!

— Я только маленько пройдуся! — крикнул ему в ответ Антошин. — Зябко же.

Было тихо и безлюдно. Только на перекрестке, на углу Воздвиженки и Большого Кисловского, подвыпивший подпоручик шерстил толстого пожилого городского за то, что тот не отдал ему честь. Городовой стоял в положении «смирно», лицо его выражало покорность судьбе, а подпоручик, пророчески потрясая руками в желтых лайковых перчатках, наскакивал на него:



— Распустились, мерзавцы!.. Ты куда, хам, глядел?

Городовой только пыхтел, держа руку у низенькой черной барашковой шапки с разлапистой, ярко начищенной бляхой.

— Никак нет, ваше благородие, я не хам-с!.. Я его императорского величества старший унтер-офицер-с!..

А подпоручик все больше расплялся. Уже стояло поблизости несколько зевак, и городовой в короткую паузу, когда подпоручик замолк, чтобы маленечко передохнуть, с его разрешения прорывчал:

— А ну, р-р-разойдись!.. Чего не видели!..

* * *

Антошин послушно отошел, повернул обратно, и у него перехватило дыхание: метрах в ста по Большому Кисловскому со стороны Большой Никитской улицы шел торопкой, упругой походкой, чуть склонив набок голову в шапке пирожком, коренастый, невысокий молодой человек в черном пальто с мерлушковым воротником.

Он!..

Антошину сразу стало жарко. Он расстегнул полушубок, вытер рукавом вспотевший лоб и пошел навстречу, не чувствуя под собой ног, с затуманенными от счастья глазами. И с каждым шагом он все больше убеждался, что не ошибся...

Он не мог больше идти. У него подкашивались ноги. Он подождал, пока молодой человек не поравнялся с ним, глянул ему прямо в его карие живые глаза (Антошин стоял под газовым фонарем) и прерывающимся голосом, с непередаваемой нежностью пролетел:

— Товарищ Ленин!.. Здравствуйте, товарищ Ленин!..

Молодой человек остановился, с любопытством окинул его быстрым смеющимся взглядом с головы до пят. Его рыжеватая, совсем еще юношеская борода забавно вздернулась кверху.

— Ошибаетесь, мой друг. Моя фамилия не Ленин. Вы меня, вероятно, с кем-то спутали.

Ну конечно же, в девяносто четвертом году его партийная кличка была не Ленин. Кажется, «Старик». Как он это мог упустить из виду!

— Владимир Ильич! — прошептал тогда Антошин, не замечая, как по его щекам покатались слезы восторга. — Владимир Ильич, здравствуйте!..

Молодой человек осторожно глянул Антошину в глаза.

— Предположим, что меня и в самом деле зовут Владимир Ильич... Ба, да вы никак плачете! Позвольте узнать почему?

— Если бы вы, Владимир Ильич, знали, сколько лет я мечтал увидеть вас вот таким, шагающим по улице!.. И пожать вам руку...

— Гм-гм!.. Весьма польщен, но не пойму, чем заслужил. Ну-с, а нельзя ли полюбопытствовать, почему вы именно меня приняли за некоего Владимира Ильича?

— Ульянова, — добавил Антошин.

— ...За некоего Владимира Ильича Ульянова? — уточнил свой вопрос молодой человек.

Что мог ему ответить Антошин? Не рассказывать же, в самом деле, что в ночь на только что минувший Новый год он неведомым, никак не объяснимым путем провалился в прошлое из Москвы конца пятидесятых годов двадцатого века. И что в том мире, из которого он попал в девяностые годы девятнадцатого, нет более известного и дорогого имени, чем Владимир Ильич Ленин. Антошин молчал и жадно вглядывался в бесконечно родное, чуть скуластое лицо своего молодого собеседника. Он ловил минуты. Он знал, что сразу после вечеринки в доме Залесской, на которой он вступит в спор и разгромит теоретика народничества «В. В.», Владимир Ильич уедет в Нижний и что поэтому он, скорее всего, никогда его больше не увидит.

— Я даже бывал в вашем доме в Ульяновске, — нашелся он наконец, — то есть, я хотел сказать, в Симбирске.

Это была сущая правда: в пятьдесят шестом году он ездил в экскурсию по ленинским местам.

— Мой отец еще в детстве много рассказывал мне о вас, о вашем отце, Илье Николаевиче, о вашей маме, Марии Александровне, о вашем брате Александре...

Молодой человек потемнел в лице...

— ...о его геройской смерти за народное дело, о ваших сестрах и младшем брате. Он вас очень любил, мой отец, он говорил, что...

— Он жил в Симбирске? — спросил молодой человек.

— Недолго, — ответил Антошин, и это тоже была правда, потому что Василий Кузьмич в гражданскую войну участвовал в боях за освобождение Симбирска от белых.

— Ваши родители живы?

— Умерли.

— Где вы работаете?

— Я безработный.

— Это плохо. Давно?

— Девятый день.

— Будем надеяться, что вы скоро поступите на работу: Россия переживает дни бурного промышленного подъема. Вы крестьянин?

— Рабочий. Сын рабочего. У меня дед был крестьянин.

— Скажите по совести, друг мой, только по совести — вы нуждаетесь?

— По-моему, не очень, Владимир Ильич.

— Ох, дался же вам этот Владимир Ильич!.. Так вот, друг мой, обещайте мне, что вы на меня не обидитесь. Так и скажите: «Я не обижусь».

С этими словами молодой человек расстегнул пальто и извлек из брючного кармана кожаный портмоне.

— Я не обижусь, Владимир Ильич, — покраснел Антошин, — но вы меня очень огорчите. Я еще не так нуждаюсь. У меня есть теплый угол и всегда найдется что поесть... Но я хотел бы... Можно мне позвать вашу руку?..

— С удовольствием, — удивленно ответил молодой человек. — Вот вам моя рука. Я вам искренне желаю счастья... А связь с деревней, со своими деревенскими родичами вы поддерживаете?

— Я с ними даже не знаком.

— А вот это зря. Связь с деревней надо поддерживать. Вы производите впечатление вполне интеллигентного рабочего, а связь с деревней давала бы вам возможность полной разбираться в важнейших вопросах нашей жизни. Не так ли? Ну, вы меня извините. Я тороплюсь. Простите, как ваше имя-отчество?

— Георгий Васильевич.

— Итак, еще раз желаю вам счастья, Георгий Васильевич.

— И вам тоже, Владимир Ильич! — сказал Антошин.

Молодой человек улыбнулся, приветливо помахал рукой в до-машней вязаной варежке, сделал несколько шагов, обернулся, на ходу вполголоса промолвил: «А связь с деревней обязательно поддерживайте!» — пересек Воздвиженку и, видимо, на всякий случай пошел переулком в сторону Знаменки.

Антошину от сознания, что он больше его никогда живым не увидит, стало очень горько.

— Одну минуточку! — нагнал он молодого человека. — Только одну минуточку!

Молодой человек остановился. Лицо его выражало нетерпение.

— Я вас слушаю, Георгий Васильевич.

Только чтобы хоть еще несколько мгновений поговорить с Ильичем, Антошин задал вопрос, ответ на который и так был ему ясен:

— Скажите мне, пожалуйста, если человек определенно знает, что народное дело победит, даже знает, когда точно оно победит, обязан ли он включаться в борьбу за дело рабочего класса? — И Антошин довольно глупо добавил: — Вы меня не опасайтесь, я не шпик.

— Ах, вы не шпик? — проговорил молодой человек, и его лицо приняло хитрое-прехитрое выражение. — А что это за странное слово такое — «шпик»? Признаться, я такого слова сроду не слыхивал... Так, значит, вы говорите, что знаете даже точную дату, когда победит народное дело? Мне остается искреннейшим образом вам позавидовать. Правда, лично я политикой не занимаюсь...

— А надо ли, если человек определенно знает, что?..

— Конечно, надо, — перебил Антошина молодой человек, — без-ус-ловно надо. Даже, я сказал бы, тем более надо... А что касается точной даты, то я вам чертовски завидую!..

Он сделал еще несколько шагов, снова обернулся, снова бро-

сил быстрый смеющийся взгляд на теперь уже нарочно отставшего от него Антошина, прощально приподнял шапку, обнажив при этом изрядную, не по возрасту, лысину, обрамленную курчавившимися рыжеватыми волосами, крикнул: «Застегните полушубок, простудитесь!» — снова махнул рукой и вскоре скрылся во мраке плохо освещенного переулка...

* * *

Подпоручик отпустил, наконец, злосчастного городского, и тот, словно сорвавшись с цепи, зашагал по тому же переулку, как бы вдогонку молодому человеку. И хотя Антошину было из истории партии известно, что вечер этот прошел для Владимира Ильича благополучно, ему все-таки поначалу стало жутковато.

Видимо, Владимир Ильич прошел на квартиру к Кушенскому не через ворота, а каким-то другим ходом, потому что Антошин его так больше и не увидел...

Антошин орудовал деревянной лопатой. Ему стало жарко. Он сбросил полушубок, и никогда ему не работалось так легко и весело. Где-то совсем рядом, в каком-нибудь десятке метров молодой Ленин разбивал в это же самое время в пух и прах признанного и самоуверенного теоретика российского легального народничества.

Он вспомнил заученное наизусть еще в детдомовском политкружке донесение агента охранного отделения:

«...Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества «В. В.» (врач Василий Павлович Воронцов) вынул своей аргументацией Давыдова замолчать, так что защиту взглядов последнего принял на себя некто Ульянов (якобы брат повешенного), который и провел эту задачу с полным знанием дела».

— С полным знанием дела! — с удовольствием повторил про себя Антошин и только сейчас сообразил, что молодой человек за все время их разговора так ни разу и не подтвердил, что он точно и есть Владимир Ильич Ульянов, даже просто Владимир Ильич. Сообразил и даже засмеялся от восхищения, как ловко это получилось. «Конспирация!» — довольно неосторожно произнес он вслух.

— Чего? — спросил дворник, тяжело переживавший приближение расчета с Антошиным.

— Собираться, говорю, — нашелся Антошин. — Собираться мне пора. Плати, господин старший дворник, денежки. Работа исполнена в срок и полностью.

— А я тут и старший, и младший, и всякий иной, — мрачно отозвался дворник. — На, получай. Он вручил Антошину четвертак. Подумал, вздохнул и добавил пятак. — Засим, будь здоров, пиши письма.

— Так тут же всего тридцать копеек!

— А это ни по-твоему, ни по-моему. Самый что ни на есть справедливый расчет.

— Так ведь мы на сорока копеек договорились!

— А ну, поговори у меня!..

— Ты мне зубы не заговаривай! — расвирепел Антошин. — Договорились на сорока копеек, плати сорок!

— А вот я сейчас свистну, придет, конечно, городской, — лениво протянул дворник. — Пачпорт спросит, всякое такое...

— Эх ты! — сказал тогда Антошин. — Мало вас били таких в семнадцатом году!

— В каком, говоришь? — любопытствовал дворник.

Он понял, что спорный гривецник уже остался напрочно в его кармане, и потому настроен был сейчас более или менее миролюбиво.

— В одна тысяча девятьсот семнадцатом, вот в каком!

— Дурак! — незлобиво заметил дворник. — Не было еще такого года.

— Будет. И ты до него доживешь. Ты здоровый.

— Я здоровый, — охотно согласился дворник. — Я доживу.

Видно, кончилась вечеринка у сына коллежского асессора Кушенского. Из ворот вышли, подчеркнуто не обращая друг на друга внимания, как незнакомые, несколько молодых людей и девушек, молча разошлись. Одни направо, другие налево, двое или трое перешли на противоположный тротуар. Потом, уважительно поддерживаемый под руку студентом-универсантом, выплыл из ворот невысокий, плотного сложения пожилой человек с довольно кислым лицом. Он брюзгливо молчал, а студент что-то быстро и с некоторым подобострастием говорил ему, потрясая свободной рукой и кому-то грозясь.

«По описаниям похоже, сам господин «В. В.» собственной персоной», — не без злорадства подумал Антошин, сразу позабыв о коварном дворнике.

— А главное, уважаемый Василий Павлович... — донеслись до него слова студента.

«Он самый! — с удовлетворением заключил Антошин. — «В. В.»... С легким вас паром, Василий Павлович!..»

Прошло еще две-три минуты, и с нарочито беззаботным видом прошел мимо дворника... Конопатый, увидел Антошина и помрачнел.

«Все!.. — сокрушенно подумал Антошин. — Решит, что я шпик... Теперь уж обязательно».

Он еще некоторое время для вида переругивался с дворником, все не теряя надежды, что ему посчастливится еще раз увидеть Владимира Ильича, но так и не дождался.

«Некто Ульянов», наверное, покинул дом Залесской другим путем, не через ворота...

* * *

Антошин так и не смог даже приблизительно найти то место, где потом, шестьдесятю годами позже, раскинулся завод, на котором он работал. И место, где примерно тогда же построили дом, в котором он проживал. Даже квартал, в котором этот дом находился.

Он не поспешил на конку, барином доехал до самой заставы. Увидел неширокую шоссейную дорогу, извилистую, то в гору, то под гору, всю в ухабах. Несколько покосившихся, крытых соломой обывательских домишек. Придорожный трактор, низенький, бревенчатый, похожий на сарай и тоже под соломенной крышей, и около него, у изгрызенной серой коновязи, одино-

кие сани, как на картине «Последний кабак». Реденький лесок по обе стороны дороги, немножко отступя. Серые телеграфные столбы, покорно ухидившие к скучному, серому горизонту. Деревушка на горизонте — полтора десятка изб, и сразу за ними черная, с чуть выступающими зубчиками стена далекого соснового бора. Над бором жиденький бледно-лиловый закат. Крестьянский обоз с дровами трюхает с ухаба на ухаб, с ухаба на ухаб, будто лодки на крутой волне.

Прохрустела валенками по снегу, пересекла невидимую черту города Москвы и пошла по заваленной сугробами земле Московского уезда молодая крестьянка. Ребенок на левой руке, корзина — в правой, котомка за плечами. Вороны — как хлопья сажид над печальными пасмурными январскими полями. И еще вороны — на полосатой будке последнего представителя московских городских властей. Последнего городского. Застава: кончалась власть обер-полицейстера, частного пристава, околоточных надзирателей и городских, начиналась сфера влияния станового пристава, урядников, сотских, десятских.

Хорошо бы побывать под Москвой, там, где прошли его детские годы! Детдом помещался в старинной барской усадьбе. Съездить бы, вспомнить друзей, полюбоваться домом. Конечно, издали: в нем живут и еще четверть века будут проживать помещики. Живут, черти, и не подозревают, что когда-нибудь их дедовский дом будет вызывать нежные воспоминания у Юры Антошина, у его сестры Оли, Галки, сотен других молодых советских граждан, ведущих свой род от лиц низших податных сословий. Но железнодорожный билет влетел бы в копейчку. И вдобавок туда и обратно от станции ровно шестнадцать километров. Пешочком. Автобусы и попутные машины вроде не предвидятся...

Бывает так: лишился человек на войне или в мирное время

руки или ноги. Давно уже заросла культя. Прошла тоска первых месяцев и лет. Человек притерпелся, как-то приспособился к своему вечному состоянию. И вдруг в сырую погоду, при других каких-нибудь обстоятельствах начинает у этого человека нестерпимо, до крика, болеть несуществующий палец несуществующей руки или ноги, или ноют кости, давным-давно оторванные, разможенные, отрезанные. Явление это по-научному называется фантомные боли. Говорят, с течением времени они помаленечку отступают, все реже наваливаются на искалеченного человека. И будто бы в конце концов и вовсе пропадают. У каждого человека в разные сроки.

Фантомные боли не отпустили Антошина с первых же дней его удивительной передвижки во вре-



мени. Шесть с лишним десятков лет отделяли его от родных, друзей, товарищей по заводу и институту, от среды, в которой он вырос, от строя, в котором он чувствовал себя равным среди равных, участником большого и красивого общего дела.

Первого января (по старому стилю) все связи с этим миром порвались для Антошина самым фантастическим и непоправимым образом. Но мозг его был занят мыслями и заботами об этом потерянном мире, как если бы по-прежнему нервы получали сигналы непосредственно с его завода, с его квартиры, из невыразимо, нечеловечески далекой Москвы конца пятидесятых годов двадцатого столетия.

Кого назначили вместо него бригадиром? Как бы сгоряча не выдвинули на эту работу Васюку Журавина: в полмесяца завалит все показатели. Это уже как пить дать!.. Что дома и на заводе думают о его внезапном исчезновении? Галка, наверно, убивается, винит себя. Думает, бедняга, что он сгоряча кинулся в прорубь... Его, наверно, ищут во всех моргах. Может быть, даже объявили всесоюзный розыск... Интересно, как быстро Галка придет к мысли, что Антошин пропал навсегда и сколько лет (или месяцев? Нет, не может быть, чтобы только месяцев!) потребуется ей для того, чтобы утешиться... Володька Конокотин подождет, сколько требуется для приличия, и снова начнет планомерную осаду Галки. В отсутствие Антошина он единственный перспективный претендент на ее руку и сердце... А заводской оперно-хоровой кружок горит, как свеча. Готовили, готовили первый акт «Евгения Онегина» — и вдруг за неделю до решающего выступления остаться без Онегина! Разве за неделю приготовишь замену! А ведь имелись шансы выйти на общемосковский конкурс...

Было удивительно обидно думать, что так нелепо и безнадёжно прервалась его учеба в институте, которая стоила ему столько сил, столько бессонных ночей. Теперь ему часто снилось, будто он вместе с другими заочниками приходит сдавать зачеты, и у всех зачеты принимают, а с ним и разговаривать не хотят, потому что он не посещал обязательных лекций. А как он мог посещать эти лекции в тысяча восемьсот девяносто четвертом году? Он пытается объяснить преподавателям, но от него требуют заверенных справок о том, что он не имел возможности посещать обязательные лекции на электротехническом факультете заочного института ввиду того, что временно проживал в Москве тысяча восемьсот девяносто четвертого года. Это ж сдохнуть можно от такого формализма!..

Они возникали, эти фантомные боли, в самое неожиданное время, по самым отдаленным ассоциациям, ударяли, как током из осветительной сети, и отпускали, забываемые новыми заботами и переживаниями, которые обрушивала на Антошина старая, дореволюционная Москва.

Жил Антошин в одном мире и попал в антимир. Все наоборот. Полная и всеобщая противоположность знаков. То, что в прежнем мире Антошина существовало со знаком плюс, здесь имело перед собой знак минус, то, что он привык видеть со знаком минус, здесь имело перед собой жирный и наглый плюс.

В привычном, прежнем мире Антошина человеку до всего должно было быть дело. Здесь, в императорско-купеческом анти-

мире, над всеми его городами и весями непрерывно висел свирепый и пронзительный, как полицейский свисток, окрик: «НЕ ТВОЕ ДЕЛО!»

И как послушное, рабье эхо этого незамысловатого романса, обыватели в своих норках с хохотком отыгивали смиренно-мудрыми поговорочками: «Наша хата с краю», «Всяк сверчок знай свой шесток», «Наше дело телячье — замараем хвост, хозяин вымоет».

Но были и в этом антимире люди, которым до всего было дело.

И Антошину в этом сумрачном антимире тоже до всего было дело.

Он умер бы от унижения и возмущения, если бы не мог соединиться к этим людям.

* * *

— Помирает Конопатый, — сказала Ефросинья, растапливая печку, — уже он ситного хлеба не ест...

Стояло солнечное, удивительно теплое утро. В подвале было тихо. Степан ушел за товаром, Шурка — в Зойкины мебелирашки, к Конопатому.

Морозная роспись на окошке расплылась, потускнела, покрылась зеленовато-желтыми потеками. Тоненький снопок солнечных лучей пробился сквозь лунку, которую Шурка вчера продышала на стекле, вырвал из полумрака ясный столбик неугомонных пылинок и уткнулся в коробку с деревянными гвоздями. Гвозди засветились теплым и веселым янтарным светом. Шел двенадцатый час. Насучив для Степана впрок дратвы, Антошин собирался в город: в такую погоду грех сидеть в подвале.

— Помирает Конопатый, — повторила Ефросинья. — Для चाहоточных такая погода хуже отравы.

— Жалко, — сказал Антошин, и голос его дрогнул, — хороший человек.

— Хороший — нехороший, это мне неизвестно, — рассудительно отозвалась Ефросинья, — а душа в нем человечья... Трудно человеку одиноко помирать. Ровно собака какая. Сходил бы ты к нему до работы, а? А то с ним одна Шурка, дите. От дитя ему какой интерес — взрослому человеку?..

— Не любит он меня, — хотя сознался Антошин, — остерегается.

— Это тебе мнится, — сказала с осуждением Ефросинья, — какой-то ты мнительный, Егор.

— Нет, не мнится, — печально отвечал Антошин.

Горько было сознавать, что ему заказан путь к единственному революционеру, с которым судьба свела его здесь, в дореволюционной Москве. Явиться теперь к Конопатому без спроса? Но это бы только отравило умирающему его последние часы...

Конопатый умирал в одиночестве. Легальными знакомыми он еще не успел обзавестись. А тем несколькими нелегальным, с которыми он познакомился на явке по прибытии из Якутска, вход к нему был заказан — за двором была установлена слежка: Сашка Терентьев замаливал свои грехи. На той неделе его неожиданно-негаданно вызвали на Большой Гнезниковский, в охранное

отделение, дали понять, что дело его поправимое и чтобы он старался. Вот Сашка и старался. С утра до ночи он рыскал по двору или посиживал у ворот, коротая время с дворником Порфирием.

Но пока что Сашке не везло.

Приходила, правда, прошлым воскресеньем с кошелкой в руках какая-то беленькая барышня с суровым и милым лицом. Она спросила, где тут меблированные комнаты госпожи Щегловой. Сашка проводил ее до самого входа, распахнул перед нею обитую драным войлоком дверь и учтиво последовал за нею на второй этаж. Зойки не было. Девушке пришлось снова обратиться к Сашке, чтобы узнать, где тут проживает господин Розанов, ее двоюродный брат. На этот раз Сашка проводил ее до самых дверей, за которыми умирал Конопатый.

Он приоткрыл их и крикнул: «Господин Розанов, к вам ваша сестричка-с!» — пропустил вперед девушку и успел наметанным оком заметить, что она Конопатому не знакома.

Дверь за нею захлопнулась, а Сашка присел на корточки и прильнул синеватым острым ухом к замочной скважине.

— Воняет! — промолвил вдруг умирающий неожиданно сильным голосом. — Какая-то скотина дышит в скважину...

Сашка отпрянул от дверей, переждал несколько мгновений и снова устроился у скважины, но ничего, кроме обычных соболезнований и пожеланий скорейшего выздоровления, не услышал.

Барышня оставила Конопатому холодную курицу, картузик с конфетами «Каприз», бутылку дешевого вина, фунта два антоновских яблок, пачку чаю, фунт сахара, затем осторожно, на цыпочках, неслышно приблизилась к выходу и с силой толкнула дверь.

Сашка взвыл от боли и отлетел в глубь коридора, потирая ушибленный лоб.

— Низкий вы человек! — сказала девушка, побледнев от гнева. Дробно стуча старыми калошками, она сбежала по ступенькам во двор.

Соблюдая положенную по инструкции дистанцию, Сашка пропустил за нею.

Он не терял ее из виду, пока она спускалась по Большой Бронной. Потом она повернула на Большой Козихинский, оттуда, не оглядываясь, но явно замечая следы и все ускоряя свои шаги, свернула на Спиридоньевскую, со Спиридоньевской — на Трехпрудный, а на самом углу Благовещенского неожиданно села на извозчика и поехала по Ермолаевскому к Патриаршим прудам.

Сашка рысью помчался за нею, потому что, как на грех, больше извозчиков поблизости не оказалось. Но пока он добежал до Патриарших прудов, барышня уже давно была где-то далеко на Большой Садовой.

А сегодня, в одиннадцатом часу утра, приходил к Конопатому доктор. Молодой, краснощекий, плохо одетый. На его толстом курносом носу смешно подрагивало пенсне на черном шелковом шнурочке. Совестясь перед Розановым своего завидного здорovia, он тщательно и долго его выстукивал.

Розанов вежливо дал себя тормошить, но когда тот попытался было говорить что-то утешительное, мягко остановил его:

— Учтите, коллега, я сам без пяти минут врач... Меня взяли накануне государственных экзаменов.. Шурочка, дай дяде доктору табуреточку.

Шурка, сидевшая на облезлой клеенчатой кушетке, свесив ноги в валеночках, расшитых линиями розовыми узорами, кинулась подавать расстроившемуся доктору табуретку.

— Познакомьтесь, — сказал Конопатый, — это Шурочка, моя наперсница и милосердная сестрица.

— Очень приятно, — отвечал вконец растерявшийся доктор и легонько сжал в своей ручище Шуркину сухую и теплую ручонку.

Шурка восхищенно фыркнула.

— А если... — неуверенно продолжал доктор, — а как вы посмотрите, если мы вас в больницу?.. Может быть, даже в университетскую клинику...

— Не могу, — усмехнулся Конопатый, — у меня здесь барышня знакомая. — И снова кивнул на Шурку.

Девочка снова фыркнула и тряхнула рыжими косичками, как молодая лошадка.

— Нет, верно, коллега, — продолжал Розанов, видя, что доктор собирается настаивать, — я уж лучше здесь долежу свое. Все-таки в компании...

Он не докончил фразы, потому что Шурка вдруг подозрительно зашмыгала носом.

— Это еще что такое! — прикрикнул он на нее и закашлялся от напряжения. — Ты меня раньше времени не хорони!.. Мне еще на твоей свадьбе поплясать надо!.. А ну, подавай мне моментально чаю, а то у меня, сама знаешь, разговор короткий: чуть что — расчет, и будь здорова!

Шурка бросилась наливать чай.

— И ситного! Моего любимого! Живо!

Чтобы успокоить девочку, он заставил себя проглотить несколько глотков порядком остывшего чая и даже кусочек хлеба.

— Сережа третьего дня уехал на Кавказ, — вполголоса сообщил ему тем временем доктор, и Розанов скорбно сжал свои иссиня-бурые губы, — а тетя Маня прямо сбилась с ног, женихов ищет...

Шурка удивилась, почему эти смешные слова про тетю Маню так огорчили Конопатого, но спрашивать не стала: захочет — сам объяснит.

— Когда я вам потребуюсь... — громко заговорил доктор, но Розанов снова его перебил:

— Вы мне больше не потребуетесь... И не рискуйте собой, прошу вас. Тут все время рыщет один мерзавец, долговязый такой (Шурка догадалась, о ком идет речь, но не подала виду)... особенно сейчас, когда наших друзей... когда тетя Маня... — и он горько махнул рукой.

Доктор с тоской и нежностью с минуту всматривался в очень желтое, изрытое посветлевшими оспинками лицо Розанова, потом дрожащими могучими пальцами снял пенсне, поцеловал Розанова в покрытый холодной испариной лоб, пожал ему руку, сдавленным голосом произнес: «Прощайте, дорогой друг!», смешно всхлипнул и быстро вышел в коридор. Оттуда он, снова приоткрыв дверь, поманил Шурку.

Она выскочила в коридор. Доктор ожесточенно шарил по карманам своего пальто, пиджака и брюк, тихо приговаривая: «Ах ты боже мой, ах ты боже мой!.. Ну как назло!..»

Во всех карманах он наскреб гривен на шесть серебра и меди и сунул их в руку Шурке.

— Купишь ему апельсинов! — зашептал он, суетливо глядя ее по голове. — Апельсинов или конфет, или чего он там захочет... Понятно?

— Куплю, — сказала Шурка, по-взрослому поджав губы. — Вы не сомневайтесь... Дяденька доктор! — Она знаками попросила его нагнуться. А когда он нагнулся, она прошелестела ему на ухо, чтобы Конопатый не услышал: — Дяденька, он умрет?

— Что ты, что ты! — неумело замахал на нее руками доктор, и Шурка поняла, что Конопатый уже не жилец на этом свете.

— Только боже тебя упаси плакать при нем! — так же шепотом предупредил ее доктор.

— Скоро ты будешь совсем здоровый, — сказала немного погодя Шурка, вернувшись в комнату с покрасневшими глазами, — только тебе кушать надо побольше. Доктор говорит, будешь хорошенко кушать — совсем скоро выздоровеешь, к пасхе...

— Даже раньше, — поспешно согласился с нею Конопатый. — А кушать — этому мы сызмальства обучены... Хочешь, я сейчас зараз пуд хлеба съем?.. Только чтобы, конечно, с изюмом...

В ответ на эту очевидную шутку девочка вдруг расплакалась.

Часа через полтора Конопатый понял, что до ночи ему не дотянуть, и тогда он велел Шурке сбегать за Егором, а самой покуда посидеть дома, с мамкой...

* * *

Антошин готовился к худшему, и все же он не мог себе представить, чтобы человек мог так измениться за каких-нибудь две недели.

— Похорошел? — усмехнулся Конопатый.

— Не очень, — пробормотал Антошин, невольно отводя глаза.

— Осталось мне, брат Егор, жизни, по моим расчетам, никак не больше суток.

Антошин собрался ему возразить, но умирающий, с трудом выпростав из-под жалкого линялого одеяла страшно исхудавшие руки, досадливо чуть приподнял правую.

— Не будем зря терять время... Нам нужно потолковать.

Ему было трудно. Через каждые несколько слов он останавливался, чтобы перевести дыхание. Но почти не кашлял.

— Вредно вам разговаривать, — сказал Антошин.

— Теперь уже не вредно... Радости в этом, конечно, мало, но факт... Ты понимаешь, что такое факт?..

— Понимаю, — сказал Антошин.

— Ну вот, сам посуди: речь у тебя городская, даже интеллигентская... грамоте знаешь, слово «факт» понимаешь. — Тут Конопатый попытался сложить губы в улыбку, но улыбки не получилось. — Ко всему прочему встречаю я тебя тогда там, вечером у Арбатских ворот, когда ты снег грузил... Сам посуди, разве это не подозрительно?

Антошин в знак согласия молча кивнул головой.

— Говори спасибо Шурке... У нас тут с нею в последние дни много было о тебе говорено... Она тебе не рассказывала?

Антошин отрицательно покачал головой.

— От горшка три вершка, а слово держать умеет! — похвалил Конопатый Шурку. — Из нее настоящий человек получится... если не погонит ее жизнь на бульвар... Золотая девчушка... Не оставляй ты ее, Егор, без своего присмотра... Она тебя любит.

— Не оставлю, — обещал Антошин.

— Так вот, думал я думал и решил напоследок (Антошина резанул непривычно горький смысл, который придавал Конопатый слову «напоследок») потолковать с тобой по душам... Тем более что явок ты от меня все равно никаких не получишь... а доносов мне уже сейчас бояться вроде и не к чему... Да ты не обижайся, — сказал он, заметив, как перекосило лицо Антошина при этом невольном намеке, — дело житейское.

— Я не обижаюсь, — сказал Антошин.

С минуту Конопатый отдышал, сомкнув зеленовато-бурые, высушенные до полупрозрачного состояния веки.

Антошин тем временем поднялся с табуретки и на цыпочках направился к двери.

— Ты куда? — спросил Конопатый, не раскрывая глаз.

Антошин на цыпочках же воротился к постели и, нагнувшись к Конопатому, прошептал:

— А вдруг он нас подслушивает, Сашка?

— Доктор его увел от меня аж в Сергиев посад... Поводит его по лавре часочка два... Теперь Сашку жди часам к семи вечера, не ранее... Часов до семи у нас с тобой полная свобода...

Тут какая-то неожиданная мысль озарила лицо Конопатого. Глаза его заблестели, на острых скулах появился бледный румянец:

— Была не была!.. Хоть последние несколько часов проживу свободным гражданином!.. Дай-ка мне вон ту книжку, вторую слева на полочке!..

Антошин достал ему книжку. Конопатый полистал ее и достал вырезанный из какой-то нерусской газеты портрет... Карла Маркса! Точно такой же, как тот, который когда-то показывала своим юным «историкам-марксистам» в Музее Революции Александра Степановна. Только тот совсем пожелтел от времени, а этот был совсем свежий. Теплая волна подкатила к сердцу Антошина: перед ним был один из первых, может быть, даже из первого десятка, портретов Маркса, появившихся в России.

— Теперь, — сказал Розанов, которому этот портрет, казалось, прибавил сил, — теперь календарь побоку, а на его гвоздик накопи эту картинку... чтобы он у меня все время был перед глазами... Это был такой человек!.. Я тебе о нем сейчас расскажу...

Он снова маленечко отдохнул, закрыв глаза.

— Приколел? — спросил он, все еще не раскрывая глаз. — Тогда давай, Егор, заодно откроем окно, а?.. Вынимай вторую раму... на мой ответ... Скажешь Зойке, я приказывал... Хочу дышать свежим воздухом и не бояться, что тебя подслушивает какой-нибудь царский холуй... Может, тебе обидно слышать такие слова про царя?

— Нисколько не обидно, — сказал Антошин, торопливо отдирая с краев оконных рам поотставшие от сырости полоски газетной бумаги, — чего ж тут такого обидного?

Столовым ножом он отогнул гвоздики, которыми зимняя рама была приколочена к подоконнику и наличникам, дернул ее обеими руками на себя, вынул, поставил у стенки, распахнул окно.

В комнату хлынул солнечный свет и бодрящий, совсем по-весеннему сыроватый свежий воздух. И вместе с воздухом и солнцем со двора и Большой Бронной ворвались в затхлые Зойкины мебелишки внешние городские шумы.

Восторженно визжали ребятишки, игравшие в «казаков-разбойников». Вовсю чирикали воробы. У изгрызенной деревянной конюязи возле извозничьего трактира глухо ржали в торбы с овсом извозничьи клячи. Звенел невообразимо высокий тенор точильщика: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» «Старье би-ре-ом!» — вопил захожий татарин с мешком на спине. На соседнем дворе шарманка, задыхаясь и ухая, играла марш лейб-гвардии Преображенского полка. Под самым окном какая-то, судя по свежему голосу, нестарая женщина рыдающим голосом попрекала кого-то невидимого и неслышного.

— Я тебе что? Я тебе, деспот, приказывала огурцы купить? А это что? Это разве огурцы? Огурцы, говоришь?! А где ихняя хрусткость, если это огурцы?.. Да тебя за такие огурцы убить мало, Мазепа проклятая!.. Молчишь?! Я тебе, ирод, помолчу! Где огурцы?.. Три копейки корове под хвост!..

Конопатый раскрыл глаза.

— Сядь поближе, — поманил он Антошина.

Антошин придвинул свою табуретку к самому изголовью умирающего.

— Так вот, — сказал Конопатый, — парень ты, кажется, честный, грамотный... и если тебе дать правильное направление, сможешь ты сослужить народу хорошую службу, благородную... Конечно, если ты хочешь добра не только себе, но и народу...

— Хочу, — сказал Антошин. — Честное мое вам слово, очень хочу.

— Можешь себе представить, Егор, будет такое время... обязательно будет, когда не станет у нас в России ни царей, ни помещиков, ни фабрикантов... Ни купцов... Никаких хозяев, которые живут чужим трудом... Чудно, а?

— Нет, почему же, — сказал Антошин, — нисколько не чудно.

— ...И вся власть будет в руках народа... И не будет неграмотных... Всех будут учить бесплатно в гимназиях и университетах... И рабочих всех, кого теперь не допускают до ученья... Хотел бы ты быть студентом, Егор? Ты не стесняйся, говори... Тут нет ничего смешного...

Ах, как Антошину хотелось сказать, что он студент-заочник, что через два с половиной года он стал бы уже инженером, если бы не эта удивительная перемена в его жизни! Но Конопатый все равно не поверил бы.

— Конечно, хотел бы, — сказал поэтому Антошин. — Высшее образование — великая вещь.

— Но этого счастливого времени нельзя дожидаться сложа руки... Каждый...

Сильный приступ кашля прервал слова Конопатого.

— Я лучше закрою окошко, Сергей Авраамиевич, — предложил Антошин, — все-таки январь месяц.

— Чепуха! — прохрипел сквозь кашель Конопатый. — Хуже не будет.

С минуту длилось тяжелое молчание. Потом Конопатый с деланным безразличием осведомился:

— А тебе откуда известно, что я Авраамиевич? Меня здесь во дворе все Абрамычем величают.

Антошин понял, что проговорился и что теперь ему от объяснений не уйти.

— Сергей Авраамиевич, — начал он, сознавая всю необычайную шаткость своих позиций, — вы читали книгу «Янки при дворе короля Артура»?

— Не виляй, Егор, отвечай по существу.

— Так я же как раз по существу! Роман американского писателя Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» вам приходилось читать?

— М-м! — отрицательно промычал Конопатый.

— А «Путешествие пана Броучека в XV столетие»? Это повесть чешского писателя Святоплука Чеха...

— Откуда... тебе... известно... что мое... отчество... Авраамиевич? — надсадным голосом повторил Конопатый, уже не стараясь скрыть свою подозрительность. — При чем здесь какие-то романы?

— Очень даже при чем, — беспомощно отвечал Антошин, чувствуя, что вот-вот и кончится их запоздалая беседа. — Я вам сейчас все расскажу... Только вы мне все равно не поверите... Я бы и сам на вашем месте ни за что не поверил... Так вот, хотите — верьте, хотите — нет, но я уже давно, почти с детских лет знаю ваше имя и отчество по... Музею Революции.

— По чему, по чему? Ты яснее говори... По какому такому музею?

— По Музею Революции, Сергей Авраамиевич...

Гар-да-вой, гар-да-вой,
От-види меня домой! —

восторженно орали под окном ребятнишки, —

Мой дом на га-ре,
Три а-кош-ка на два-ре!

— Теперь, ежели ты такие огурцы покупаешь, Мафусаил же-ребячий, — звенел прежний женский голос, — то как же тебя, змей подколотный, можно теперь за колбасой, скажем, посылать или за требухой?.. Значит, я тебе деньги даю, а ты...

— Прикрой окошко, — сказал Конопатый, — мешают.

Антошин с совершенно убитым лицом выполнил его просьбу.

— Музей, значит, Революции? — медленно переспросил Конопатый. — Это в охранном отделении?

— Что вы! — воскликнул Антошин. — Это самый честный, самый настоящий, революционный Музей Революции!

— Так, так!.. И где же он, этот удивительный музей, помещается?

— Он... Он еще не помещается, Сергей Авраамиевич!.. Господи, как бы мне это вам объяснить, чтобы вы хоть немного поверили?.. Вы понимаете, он еще только БУДЕТ помещаться... В здании нынешнего Английского клуба, тут совсем рядом, на улице Горького, то есть, я хотел сказать, на Тверской...

— Будет помещаться? — слабо усмехнулся Конопатый. — Утешаешь, значит?

— Да нет же, честное мое слово, не утешаю... Я бывал в нем по крайней мере раз двадцать... Он будет там помещаться с тысяча девятьсот двадцать второго года... Вы только меня, пожалуйста, не перебивайте!.. Послушайте меня спокойно несколько минут... Я бы сам не поверил, но что я могу поделать, если это факт!.. Там, в Музее Революции, на втором этаже, в отделе «Марксистское движение девяностых годов XIX века», висит, то есть будет висеть, ваша фотография и краткие биографические сведения... Пожалуйста, прошу вас, Сергей Авраамиевич, не перебивайте меня еще несколько минут, а потом спрашивайте... Там будет написано, я вам сейчас прочитаю эту надпись наизусть, у меня отличная память... Одну минуточку, я сейчас вспомню в точности:

«РОЗАНОВ СЕРГЕЙ АВРААМИЕВИЧ. Родился в 1868 году в Гжатске Смоленской губернии, в нищей семье пономаря. Учился в Смоленской духовной семинарии, исключен из нее за «гордыню». Участник Московского народовольческого кружка Н. А. Соколова. В 1888 году в результате провокации члена этого кружка А. Колчинова...»

Конопатый, нетерпеливо слушавший его с закрытыми глазами, широко раскрыл их и с ужасом уставился на раскрасневшегося от возбуждения Антошина.

— Ты что?! Санька Колчинов — провокатор?

— Честное слово, Сергей Авраамиевич, там так написано, то есть будет написано...

— Там так и сказано — Александр Колчинов? — с неожиданным бешенством переспросил Конопатый и так пожелтел, что Антошин испугался, как бы он в эту самую минуту и не умер.

— Там написана только буква «А» — инициал... Буква «А» — и все. — Так вот, — продолжал Антошин, торопясь, чтобы Конопатый его не перебил, — там так написано:

«...в результате провокации члена этого кружка А. Колчинова был арестован и сослан на пять лет в Якутскую губернию. Вернувшись из ссылки в Москву, вскоре примкнул к марксистам. Один из участников знаменитой вечеринки в доме Залесской, на которой Владимир Ильич Ленин выступил против видного теоретика народничества «В. В.». Умер в Москве в...»

Антошин понял, что проговорился: на табличке, о которой шла речь, было сказано, что Розанов умер в 1894 году.

Он запнулся, еще больше покраснел и, стараясь избежать иронического взгляда Конопатого, пробормотал:

— Забыл!.. Подумать только, ей-богу, забыл!.. Кажется, в тысяча девятьсот восьмом, нет, в тысяча девятьсот девятом году...

Его стремление скрыть истинную дату было столь очевидно, что Конопатый уже более мягким тоном заметил:

— Так-с, друг мой ситный! Первая явная неточность уже налицо. Сергей Авраамиевич Розанов, насколько ему лично известно, отдаст богу душу не то двадцать восьмого, не то двадцать девятого января сего тысяча восемьсот девяносто четвертого года... Теперь сознавайся, соврал?

— Соврал, — признался Антошин после короткой паузы. — Не хотел вас огорчать. Но остальное все правда... Ведь я уже несколько дней все обдумываю, как мне вам всю мою удивительную историю так рассказать, чтобы вы мне, ну, хоть наполовину поверили... Предположите себе на минуту самое мерзкое: что я к вам подослан охранкой и что я такой хитрый, что нарочно не навязываюсь к вам в знакомые и спокойно жду, авось вы меня пригласите в самые последние минуты своей жизни. Какой смысл в таком агенте охранки? А я ведь у вас ничего не хочу выпытывать. Я, наоборот, хочу вам все рассказать... Надеюсь, я на вас не произвожу впечатления сумасшедшего?

Розанов отрицательно мотнул головой. Его лицо выражало безусловный интерес.

— Вы понимаете, Сергей Авраамиевич, я ведь вас совсем неспроста спрашивал про «Янки при дворе короля Артура» и «Путешествие пана Броучека в XV столетие». Там как раз описаны случаи вроде моего. У Марка Твена один американец попадает из конца XIX века в самое раннее средневековье, ко двору короля Артура, а у Святоплука Чеха один пражский домовладелец, типичный такой буржуазный либерал, непонятным путем попадает тоже из конца XIX века в Прагу времен гуситских войн. Но вы их еще не могли прочитать, потому что они еще не переведены на русский язык, а может быть, еще даже не написаны... Простите меня, я так волнуюсь!.. Так вот, поверьте мне, Сергей Авраамиевич, я нисколько не выдумываю: про тех героев писатели сочинили, а я действительно попал в Москву тысяча восемьсот девяносто четвертого года из Москвы самого конца пятидесятих годов двадцатого века, из социалистической Москвы...

Он кинул быстрый взгляд на Розанова. У того губы расплылись в снисходительной и добродушной улыбке.

— Не верите? — воскликнул в отчаянии Антошин. — Думаете, что я вам сказки рассказываю, утешаю, развлекаю, так, что ли? Нет, вы скажите, так, да? Да, я хочу, я очень хочу, чтобы вам было утешением в вашей ранней и обидной гибели то, о чем я вам рассказываю, потому что это сушая правда! Правда, правда, правда!.. Подумайте сами, может ли все, что я вам расскажу, придумать человек, даже самый гениальный? А ведь я очень обыкновенный, самый наибоыкновеннейший советский человек, обыыкновеннейший парень, москвич социалистических шестидесятих годов двадцатого века... Я понимаю: прямых

доказательств моих слов у меня нет и быть не может. Я сам ума не приложу, как это все со мною приключилось. Я только помню, что в ночь на Новый год я пошел в кино «Новости дня»... Ах да, ведь вы понятия не имеете еще, что такое кино! Ну, в общем это нечто вроде театра такого, в котором показываются движущиеся картины, в данном случае это неважно. И вот я выхожу после последнего сеанса во двор, и это вдруг оказывается наш теперешний двор, и я попадаю прямо в мастерскую к Степану Кузьмичу... Нет, я вижу по вашему лицу, что я не о том говорю, что надо... Хорошо, у меня нет прямых доказательств, но я вам выложу сколько угодно косвенных. Мало кто знает еще пока в России, когда родился и умер Карл Маркс. Хотите, я вам скажу? Он родился в 1818 году в Германии, в городе Трире, а умер одиннадцать лет тому назад в Лондоне. Фридрих Энгельс родился в 1820 году. Он еще жив... Я могу вам перечислить основные сочинения Маркса: «Капитал» — три тома, «К критике политической экономии», «Гражданская война во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Нищета философии», глава о политической экономии в «Анти-Дюринге» Фридриха Энгельса... Ой, чуть не забыл про «Коммунистический манифест»! Они его написали вместе с Энгельсом...

— А как он начинается? — прошептал Конопатый, не раскрывая глаз.

— Кто он?

— «Коммунистический манифест».

— Пожалуйста! «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма... папа и царь, Меттерних и Гизо...» — дальше наизусть не помню, — смутился Антошин.

— А какими словами он кончается?

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Какие слова! — прошептал Конопатый. — Какие слова!..

* * *

В мебелированных царилась обычная полуденная тишина. Жильцы разбрелись по своим делам. Только в номере напротив лениво и фальшивя на каждом шагу тренькал на мандолине господин Колесов, еще не старый мужчина с очень черными, слишком даже черными усами на очень белом, испитом лице банщика. Его деловое время приходилось на более поздние часы: он был шулер.

— Сергей Авраамиевич! — продолжал Антошин. — Вы только подумайте: ведь если человек может со всеми подробностями, со всем бытом, со всей его историей описать будущее, совершенно небывалое общество, то такой человек должен быть совершенно исключительным, гениальным мыслителем... А теперь вы посмотрите на меня, хорошенько посмотрите. Разве я похож на мыслителя, да еще гениального?

Конопатый слабо усмехнулся.

— Ну, вот видите! — обрадовался Антошин, как если бы он только что выслушал в свой адрес самый лестный комплимент. — Хотите, задавайте мне какие угодно вопросы? Или лучше, может, я вам для начала сам расскажу? Хотите, я вам расскажу

про товарища Ленина? — Конопатый недоумевающе глянул на Антошина. — Вы его знаете, Сергей Авраамиевич. Тот самый молодой петербуржец, который тогда, на вечеринке у Арбатских ворот, разбил в пух и прах народника «В. В.»

— Умница этот петербуржец! — прошептал Конопатый, снова закрывая глаза. — Золотая голова!..

Торопливо, сам себя перебивая, страдая от своего косноязычия, от сознания, что всего не расскажешь, потому что не хватит ни времени, ни знаний, Антошин стал рассказывать Конопатому о Ленине, о партии, которую Ленин создал, об Октябре семнадцатого года, о революциях и великих сдвигах, которые Октябрь вызвал во всем мире...

Конопатый слушал его, не перебивая, не задавая вопросов, словно боясь вспугнуть и рассеять добрую волшебную сказку. Он лежал, придавленный к тощему тюфячку жиденьким одеялом, старым студенческим пледом и засаленным полушубком своего удивительного гостя.

Когда стало совсем холодно, Антошин с согласия Конопатого закрыл окно. Жарко натопленная голландская печка (спасибо Нюрке — добрая душа!) постепенно снова нагрела комнату, быстро погружавшуюся в ранние зимние сумерки. Потом окна во флигеле напротив загорелись золотыми закатными огнями, и в комнате стало совсем темно. Антошин засветил лампу. Запахло керосином и копотью.

Конопатому стало жарко. Антошин снял с него полушубок и плед. Лицо Конопатого, все в мелких капельках пота, порозовело. А его карие калмыковатые глаза заблестели по-молодому ярко, свежо, как спелые арбузные косточки. Но слушал он, опустив веки, тихий-тихий. И очень важный. Иногда Антошину казалось, что Конопатый заснул. Он замолкал, и тогда умирающий с трудом раскрывал глаза:

— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай!..

Случалось, что Конопатый и в самом деле забывался в коротком сне. Антошин замолкал и терпеливо ждал. Проходило десять-пятнадцать минут, и снова раздавался хриловатый шепот:

— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай!..

Когда это случилось в шестой или седьмой раз, Антошин сказал:

— Сергей Авраамиевич, меня всю жизнь звали Юрой. Если вы мне верите, называйте меня Юрой.

— Рассказывай, Юра, рассказывай! — промолвил Конопатый неожиданно громко и ясно, и тут Антошин, как ни старался держать себя в руках, не выдержал и разрыдался.

— Поверили!.. Наконец-то вы мне поверили!..

— Дай мне твою руку, Юра! — тем же ясным голосом продолжал Конопатый и уже больше так и не выпускал ее из своей горячей и влажной ладони.

* * *

Все чаще и чаще он впадал в забытие. Глаза его то мутнели, то снова становились ясными, живыми, пронзительными. Антошин смотрел в них с тоской и нежностью и никак не мог определить, видит ли его умирающий или нет.



Он шел на Одессу, а вышел
к Херсону, —

продолжал Антошин, не замечая, что поет уже во весь голос, —
В засаду попался отряд.
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат...

Он пел, не отрывая глаз от Конопатого. Конопатый лежал, плотно закрыв веки. Челюсти были стиснуты крепко, как у солдата, который вот-вот пойдет в атаку. Антошин смотрел на

Немного поразмыслив, шулер переложил мандолину из правой руки в левую и тоже перекрестился.

Страшась Шуркиных расспросов, Антошин, минуя подвал, прошел прямо на улицу.

На Страстной уже шипели чуть зеленоватые огни газовых фонарей. На базаре перед монастырем запоздалые мужики торопливо запрягали застоявшихся лошадей с торбами на шеях в заваленные соломой розвальни.

Далеко-далеко, за Тверской заставой, догорал неяркий зимний закат в черной и толстой раме Триумфальных ворот. Где-то, по-видимому, у самого поворота со Страстной на Малую Дмитровку, сварливо гудел паровичок, обдавая тучами сажи пассажиров всех четырех своих вагончиков. Москва жила обычной вечерней жизнью. Тротуары кишели прохожими разного чина и звания. Трюхали ваньки, гремели бубенцами тройки, пары с отлетом. С гиком, обдавая прохожих комьями грязного снега, проносились лихачи. Гудели колокола Страстного монастыря, Дмитрия Солунского, на Богословском, на обеих Дмитровках, на Никитских.

И никто-никто не знал, кроме Антошина, что совсем рядом, на Большой Бронной, в меблированных комнатах вдовы старшего унтер-офицера Четвериковой Зои Федоровны только что навсегда закрыл свои орлиные очи один из тех людей, кому всегда будет благодарна будущая великая, свободная и могучая Россия.

Уже поднимались по скрипучим ступенькам в Зойкины меблирашки полицейские чины, чтобы удостовериться, что государственный преступник Розанов Сергей Авраамиевич, из духовного звания, имевший от роду двадцать шесть лет и два месяца, действительно умер, и составить на сей предмет надлежащие документы за надлежащими подписями и печатями. А он лежал под убогим одеялом на убогой деревянной кровати, со спокойным, гордым и счастливым лицом человека, который точно знал, что не напрасно прожил свою короткую жизнь...

Автор этих строк желал бы себе такой же счастливой смерти.



На 2-й стр. обложки:

**Рисунок Н. Кутилова к главам
из романа Л. Лагина «Голубой
человеку».**